

Пролог

Иван сошел с поезда ранним утром, в полшестого, когда солнце еще не поднялось на окончательную пугающую высоту, обещающую тяжелую и изнуряющую жару — юг, середина июля. Оно еще было мутновато-белым, словно прикрытым марлей, и пока еще вполне гуманным.

На этой маленькой, совсем небольшой станции поезд стоял всего пару минут — ну и достаточно! Тех, кто поспешно, растерянно оглядываясь, спрыгивал с дырчатых металлических ступеней на не остывший за ночь, все еще теплый, растрескавшийся асфальт, сквозь который буйно и нагло перли пучки пожелтевшей от зноя травы, было совсем немного, всего человек пять или шесть.

Выплюнув незначительных, как и сам пункт прибытия, пассажиров, поезд сердито фыркнул и с натугой тронулся дальше. Там, в его душном, прокаленном чреве, оставался народ поважнее — полноватые, лысоватые, хмурые мужчины в домашних пижамах и их попутчицы, тоже важные, хмурые и почему-то

всем недовольные корпулентные дамы, старательно пытающиеся восстановить прически, свалявшиеся за душную и оттого бессонную ночь. В купе с и так застывшим, словно замершим воздухом невыносимо пахло удушливыми цветочными сладкими духами. С недовольными лицами и нескрываемым пренебрежением оглядывая друг друга, дамы занимали очередь в туалет и морщили носики — пахло оттуда ужасно.

Важные мужчины и их не менее важные спутницы ехали на юга — на курорт, к теплому морю. Там их уже поджидали улыбочивые медсестры и массажистки, внимательные, вежливые врачи, румяные, сдобные повара и ласковые, предупредительные горничные. Всё и все были готовы к их приезду.

Просторные номера ведомственных санаториев, с высоченными потолками, балконы с гипсовыми балясинами, мягкие перины и белоснежное, накрахмаленное белье, прохладный боржом в зеленых бутылках на прикроватных тумбочках. И красные ковровые дорожки на широченных мраморных лестницах. Из столовой на свободу рвался сладковатый запах теплой сдобы, а в просторных, широких коридорах источали нежный аромат азалии. Парк в санатории был красив и ухожен — ровные дорожки из мелкого гравия, пышные клумбы с розами и георгинами, аккуратно подстриженные пальмы и голубые пушистые елки.

Здесь хмурым мужчинам и их спутницам предстояло провести двадцать четыре дня спокойной, размеренной жизни: все по расписанию, все на курортном

листке, все для драгоценного здоровья, растраченного во имя и во благо родины!

Еще в поезде, точнее в тамбуре, когда выходил покурить, Иван бросал короткие взгляды на эту публику, и ему было смешно. Пары, конечно же, были семейными — а кто, извините, отправится в отпуск с дамой сердца? Конечно, никто — возбраняется. Только со своим самоваром. Эти важные дяденьки, партийные боссы и большие начальники, тащили с собой своих соратниц и верных (как правило) жен. Уже избалованных и — когда успели? — надоевших, если по правде, по самое горло. А любовницы, молодые и легконогие, веселые и ласковые, оставались дома, в своих коммунальных комнатках или общагах. Ну а кому повезло — в собственных, отдельных, квартирах.

Иван бросал на них косые взгляды и усмехался. Уж в провинции, он был уверен, народ точно попроще и подшевнее.

В то раннее утро, когда Иван спускался с чугунных ступенек вагона, важные мужья и их недовольные жены еще крепко спали — на курорт поезд прибывал через четыре часа. Проводница широко зевнула, клацнула дверью вагона и в который раз пожалела себя: «Эх, не поспать! Пора заводить титан — *эти* скоро проснутся — и понеслось!»

Иван стоял на перроне, жмурился от уже вполне нахального солнца и улыбался. «С прибытием! — поздравил он себя. — Ну, кажется, прибыл. Привет тебе, новая жизнь! А уж какой ты окажешься, кто его знает!»

Так он ободрил себя и, подхватив потертый тканевый, в сине-зеленую клетку чемодан, двинулся в обветшалое здание вокзала: облезлая желтая штукатурка, три такие же облезлые гипсовые колонны и гипсовый бюст вождя — все как положено, все как обычно, как везде.

В здании вокзала было прохладно, тихо и почти безлюдно. Две бабки ворковали, склонив друг к другу седые головы, тощий мужичок, прикрыв лицо помятой кепчонкой, похрапывал на скамейке и явно смущал товарок, бросавших на него беспокойные взгляды.

Киоск «Союзпечать» был еще закрыт, тучная, немолодая уборщица в синем халате, позевывая, вяло возила тряпкой по полу из серой гранитной крошки, а за буфетной стойкой пышногрудая — как всегда! — буфетчица протирала стаканы и раскладывала по тарелкам вчерашние булочки и бутерброды с подсохшим сыром.

Иван оценил обстановку и, выдохнув, бодро направился к буфетной стойке — крепкий сладкий чай и булочка, пусть даже вчерашняя, ему точно не повредят. А заодно и завяжется разговор — вокзальные буфетчицы знают все, такая профессия.

При ближайшем рассмотрении буфетчица оказалась молодой хмурой женщиной с длинным, недобрым белесым лицом.

Иван взял стакан чая, два кусочка рафинада, обернутых в бумагу, и булочку с изюмом. На вопрос, свежая ли, буфетчица неопределенно повела плечом — понимай как знаешь.

За серым мраморным столиком на длинной ноге Иван выпил свой чай. Булочка, кстати, оказалась приличной. Потом вернулся к стойке.

— Комнату? — Буфетчица снова зевнула. — Надолго?

Услышав ответ, посмотрела на него уже с интересом и повторила с усмешкой:

— На неопределенный срок? Ты отдыхающий или как?

— Или как, — усмехнулся Иван.

Не стесняясь, она пристально оглядела его и, посмотрев на вокзальные часы, висящие напротив, свела брови и хмуро бросила:

— Жди! Через полчаса смену сдадим, тогда и будет тебе комната! В лучшем, так сказать, виде. — Потом она обернулась и громко крикнула: — Любка!

В дверном проеме возникла молодая черноволосая женщина с недовольным лицом.

— Поди-ка сюда! — приказным тоном велела буфетчица. — Разговор тут имеется.

Вытирая руки о нечистый фартук, вызванная буфетчицей Любка нахмурила брови и медленно, несмотря подошла.

— Чего еще? — недовольно буркнула она. — Я еще не закончила.

— Квартиранта тебе нашла! — Буфетчица усмехнулась, показав ряд золотых зубов. — На неопределенный срок, слышь? Да о таком только мечтать, а? Короче, с тебя бутылка!

Любка взглянула на Ивана и покраснела.

— Тебе, что ль, комната?

Он кивнул:

— Мне.

— Подумать надо, прикинуть. Подожди, я через полчаса буду свободна. А пока погуляй, что ли? Проветрись.

— Понял. Через полчаса, значит? Ну пойду во двор, покурю. А заодно и проветрюсь.

Он вышел на улицу. Всего-то полчаса прошло, а солнце уже набрало! А что же днем, после полудня? Настроение немного подпортилось, но он тут же отругал себя, запретив думать о неприятном. В конце концов, он ехал на юг. Мечтал жить у моря. А то, что жара... Так лето же, самый разгар, верхушка. Ну не Африка же — попривыкнет! После туманного, серого, сырого и влажного Питера уж точно будет отлично.

При воспоминании о Питере заныло сердце — боже, какой он дурак! Разве можно сбежать от Питера? Вынуть, выкорчевать его из сердца? Оказалось, что можно. Как когда-то он вырвал из сердца Москву. Да и вообще — можно, нельзя... Надо. Иначе его просто не будет. Его и так уже почти нет, а еще немного, еще чуть-чуть — и не будет вовсе.

И раз он решился, то назад пути нет. Нашел силы попробовать, значит, найдутся и силы жить.

Любка появилась через полчаса, как и было условлено. При свете дня он увидел, что ей немного за тридцать, но ее красивое смуглое, чернобровое лицо было усталым, изнуренным, каким-то пожившим. Она была среднего роста, хорошо и крепко сложена, с ладной и аппетитной фигурой, тонкой талией, ши-

рокими бедрами, с большой, уже вяловатой грудью, нагло выпирающей из тесноватого сарафана.

— Ну что? Двинули? Или уже передумал? — поинтересовалась она.

Иван поторопился ответить:

— Да, да, конечно же, двинули. Не передумал, не беспокойтесь.

Любка оглядела его оценивающим, очень женским и довольно нахальным взглядом, словно прицениваясь — нужен ей такой жилец или нет.

Шли минут двадцать. Она — резво, не сбавляя темпа, Иван — с трудом поспевая за ней: жара, уже вполне ощутимая, бессонная, тревожная ночь в поезде, чемодан с неудобной ручкой, режущей ладонь. Ну и нога. Столько лет, а он все не мог привыкнуть. Шел, перекладывая из руки в руку чемодан и палку и отирая со лба пот.

— Далеко еще? — не выдержав, спросил он.

Любка обернулась:

— Устал?

Он разозлился и коротко бросил:

— Нет. Просто вранья не люблю. Говорила же — рядом!

«Может, зря я с ней? — подумал он. — Злая ведь баба. Видит, что с палкой».

— Пришли уже, считай, — буркнула она. — Теперь уже рядом.

И вправду, минут через пять Любка остановилась у низкого забора, сто лет назад выкрашенного в голубой «веселенький» цвет, давно полинявший и выгладевший неряшливо.

– Ну вот, пришли. А я смотрю, ты истомился!

Она стояла напротив него и, щурясь от солнца, нагло, беззастенчиво и бесцеремонно, не скрывая насмешки, снова разглядывала его.

Он видел ее красивое и недоброе лицо, темные, почти черные глаза в мелких, разбегающихся от края глаза к виску морщинках, крупный, красивый, яркий рот, грубые, неухоженные руки, крепкую длинную смуглую шею с ниткой дешевых пластмассовых бус и темные пятна, расплывшиеся в подмышках. Удивился: «И ей, привычной и местной, тоже жарко. Что говорить про меня? А хороша, – подумал он. – Но совсем не мой типаж. Слишком все выпукло, слишком ярко, слишком нахраписто. Все – слишком. И баба нахальная, и красота ее такая же – грубая и нахальная».

А Любка вдруг смутилась, нахмурила длинные, красивые, темные с отливом брови.

– Давай заходи! Сейчас отдохнешь. – Она принялась открывать калитку.

Ключ заедал, не хотел проворачиваться, но Иван намеренно не помогал. Еще чего! Сама разберется. Тоже мне, цаца!

А на душе было муторно, тяжело. Зачем? Зачем он затеял все это? Какая глупость, господи! Разве спрячешься от себя, разве убежишь? Нет, из города можно. Даже от женщины можно! А вот от себя – вряд ли. Себя повсюду таскаешь с собой. И жара эта, и посудомойка – странная баба, недобрая. Это сразу понятно. Ладно, что тут. Переночую, положу рубль на стол – и тью-тью! Не останусь наверняка. Не нравится мне эта Любка.

Наконец калитка поддалась, распахнулась, и Любка обернулась к Ивану:

— Ну заходи! Будем знакомиться.

После пустынной и жаркой улицы сразу пахнуло свежестью. Двор был тенистым, заросшим. Это, конечно, его обрадовало — выдохнул с облегчением. Нет, все-таки жара не для него. «Ладно, чего уж. Поглядим — посмотрим», — сказал он про себя.

Приговорка эта была от деда, любимого Степаныча. Тот так говаривал, когда ситуация жизненная была неясной, сложной или запутанной. «Поглядим — посмотрим», — и становилось легче. Это предполагало заменяемый и вполне приемлемый вариант. Выход, как говорится. Вариантов всегда несколько — тоже дедовы слова. Только надо хорошенько во всем этом дерьме покопаться.

Под разлапистым каштаном — Иван узнал его по крупным и резным листьям — стоял темный, кривой стол, за которым сидела старуха — тощая, темная, почти черная, с крючковатым носом и полузакрытым темным веком правым глазом. На маленькой сухой голове был накручен платок. Старуха Изергиль — тут же окрестил ее Иван. Страшная, прости господи, чистая баба-яга! Старуха перебирала черные ягоды. «Тутовник», — вспомнил Иван. Старухины скрюченные, страшные пальцы были окрашены в темно-фиолетовый, почти черный цвет.

Вскинув голову и высоко задрав подбородок, баба-яга спросила скрипучим, резким, каркающим голосом:

— Опять привела?

— Жилец это, — коротко ответила Любка. — На вокзале словила.

На его робкое «Добрый день, уважаемая» старуха ответить не удосужилась, но взглядом, цепким, недобрым, острым и метким, как пуля, все же удостоила — и на том спасибо.

Было понятно, что это мать и дочь. Невзирая на яркую красоту молодой и абсолютную уродливость старой, сходство у них все же просматривалось.

Любка досадливо махнула рукой: дескать, не обращающей внимания, и кивнула в глубь сада:

— Ну чего встал? Пошли? Или передумал?

Не дожидаясь ответа, пошла вперед по узкой, виляющей тропке.

Иван обреченно пошел за ней.

Домишко — нет, сараюшка, развалина, — был маленьким, низким, кривобоким, к тому же темным. Его почти не видно было со двора. Его опутывали, отгораживая от мира, густые кусты с крупными, темными, блестящими листьями.

Хозяйка толкнула покосившуюся дверцу:

— Проходи!

Иван шагнул через высокий порог.

Комнатуха неожиданно оказалась просторной — скорее всего, по причине почти полного отсутствия мебели и какой-либо домашней утвари. У подслеповатого оконца стояла узкая кровать с пружинной сеткой и проржавевшей стальной спинкой. На кровати, свернутый в трубку, лежал полосатый матрас. Сбоку притулилась кособокая самодельная тумбочка с гвоздем вместо ручки, на которой лежала раскрытая кни-

га и стоял мутный граненый стакан с застывшим узором темно-красного цвета. «Вино», — догадался Иван.

На пол, на кое-как уложенные щелястые широкие доски была брошена куцая и рваная циновка. Напротив кровати, у стены, стояли маленький стол с фанерной столешницей и хлипкая табуретка с отставленной в сторону ногой.

Но было прохладно, свежо, тенисто, словно на улице не набирала силу тяжелая дневная жара.

Иван растерянно озирался по сторонам и молчал.

— Что, не подходит? — с недобрый смешком спросила Любка. — Ну тогда прощевай! Ступай в гостиницу. Десять минут ходу, «Юность» называется. Только чья? Вот вопрос!

— Что — чья? — не понял он.

— Юность, — сварливо повторила Любка и нетерпеливо уточнила: — Так что, не подходит?

— Подходит. А там поглядим — посмотрим.

Она, кажется, удивилась, но ничего не ответила. Наверняка ее жильё спросом не пользовалось.

— Ну и устраивайся тогда. Обживайся. А я тебе постельное принесу. А потом все обсудим.

— А плата? — спросил он. — Это обсудим прямо сейчас.

— Дорого не возьму, не за что. Пятерку в месяц осилишь?

Иван кивнул.

Любка постояла на пороге, словно раздумывая: спросить — не спросить? Но любопытство пересилило:

— А чего приехал? Ну, в смысле сюда? Отдохнуть?